



Юлиан ПАНИЧ:

**Даже
в "Разных
судьбах"
мы**

**отчитывались
перед
партией**

За окном шумит бывшая улица Горького, на меня смотрит бывший актер Юлиан Панич и говорит о трех своих жизнях: как работал здесь, в Советском Союзе, как бросил потом свое удачное и благополучное существование и эмигрировал — сначала Израиль, потом Германия, теперь вот Париж, — и работал на "Свободе", и делал радиоспектакли, а потом вдруг вернулся в Россию и сейчас вот проживает свою третью жизнь между Москвой и Парижем. Из окна квартиры, в которой он живет в России, виден ресторан "Максим". И от парижской квартиры до ресторана "Максим" рукой подать... А говорим мы почему-то больше о той, о первой его жизни. Может быть, потому, что у моих родителей сохранились открытки с портретом молодого Панича — девушки раскупали эти открытки в киосках "Союзпечати" и любовались тайком. И мне сегодня интересно: кем же был тот человек с открытки? *Век кино - 1997 - 250 стр. - С. 7.*

— Детство у меня было разным — то благополучным, то... Например, мой отец в какое-то время, когда всех сажали, в годы репрессий, тридцатые годы, получил должность начальника санитарной инспекции Сочи Мацестинского курорта. Должность эта была лакомым кусочком, конечно. Жить в Сочи иметь по должности особняк, машину... И вот мы жили два года в Сочи, как самые большие бары. Причем на фотографии, где мне три года, у меня довольно откормленное лицо. Это не от Бога. Это от жратвы. Как начальник медицинской службы отец отвечал за питание отдыхающих в санаториях. И каждое утро, часов в пять утра, к нашему дому — прекрас-

ному дому на берегу моря — приезжало несколько автомобилей, выходили мужчины, приносили судки с пробами завтраков. И требовалось, чтобы лично начальник санинспекции, а заодно его ребенок, жена, родственники ели. Потом смотрели: если не умрем, значит, все в порядке... Потом была война, была голодуха, потом... нормальное детство советского человека. Пионер. В комсомол вступил раньше, чем положено.

— **Очень хотелось?**

— Очень хотелось участвовать в разминировании города Кировограда, куда мы попали в конце войны. А на разминирование брали только комсомольцев. Я приписал себе год в ка-

ких-то документах и пошел со старшими товарищами обезвреживать мины. Ну ничего, слава Богу, никого не убило. Потом отца перевели в Москву, я жил в Москве, поступил в театральное училище имени Щукина при театре Вахтангова, окончил его, поступил в Театр Ленинского комсомола, начал сниматься в фильмах. Первый фильм был "300 лет тому". В нем я играл роль сына Богдана Хмельницкого, гетмана Украины. Фильм снимал замечательный режиссер Владимир Петров, который просто не обращал внимания ни на что. Он говорил: "Все это потом склеится. Все это соберется, вы играйте. Вы актеры, а латинское слово "актус" означает дей-

ствие"... Это еще были те режиссеры, которые могли спокойно апеллировать к латыни. Богданы Хмельницкие все время менялись: то одного знаменитого актера приглашали, то другого, потому что требовался украинский актер. Все время что-то искали, только лошадей, которых уже отобрали, и меня передавали от одного комплекта к другому. Два года так шло. Я к тому времени уже успел сняться в "Педагогической поэме" по Макаренку в роли Карабанова, еще были какие-то работы.

— **Как вам кажется, вы хороший актер?**

— Сыграв штук тридцать ролей в кино, в театре больше сотни ролей, я теперь думаю, что был

очень своеобразным актером. Я старательно выполнял любые задания. Актерского завода, актерского вдохновения я не испытывал, даже не знал, что это такое. Да простит меня Бог, мне теперь не страшно в этом признаться. Вот уже потом, занявшись режиссурой, столкнувшись с замечательными актерами, я вдруг понял, что такое мастерство актера, призвание актера. Переволотиться — это ведь одна часть работы. Еще надо иметь в голове что-то, что ты хочешь сказать людям. Каждый своим жестом. И трагедия нашего кино, на мой взгляд, была в том, что тексты и ситуации наших фильмов была настолько далеки от жизни... это был абсолютный театр. Мы говорили, как в театре: четко выговаривая слова. Вот фильм "Разные судьбы", который оказался волею судеб и случая популярным фильмом того времени. Я играл молодого мужа. Там была история ревности, измен и так далее. Но у нас нет ни одного нормального поцелуя в фильме. Ни одной секунды нежности. Это был отчет перед редакторами, отчет перед зрителями, перед партией, перед кем хотите. Я жил в коммунальной квартире, мой герой тоже якобы жил в коммунальной квартире, но, боже мой, моя-то воронья слободка на Уланском переулке, двадцать шесть комнат, один туалет, две газовые плиты, мыться очередь на кухню к этому умывальнику; пардон, в уборную мы ходили на метро "Красные ворота" — тогда еще были бесплатные туалеты... Эти магазины — с очередью, с толчеей, с прокисшими продуктами... В кино все это облагораживалось, улучшалось. И люди согласились и были счастливы — телевидения нет, в театр не так много ходили, картин было 10 — 15 в год, люди по 3, 4, 5 раз смотрели на эту жизнь.

— **Когда, на ваш взгляд, началось настоящее кино?**

— Настоящее, большое кино в России, по-моему, всерьез так и не состоялось. Потом, когда началась оттепель, Марлен Хуциев, Гриша Чухрай... очень много режиссеров... сделали картины, которые действительно как-то отражали жизнь. Но вот этого послания людям, этого служения людям было слишком мало. И только эмигрировав из Советского Союза, попав на радиостанцию "Свобода", уже поработав режиссером, уже сделав какие-то картины и соответственно получив достаточно количество тумачков, я задумался над жизнью. А когда на меня хлынули — уже у микрофона — и Солженицын, и Евгения Гинзбург, и Василий Гроссман, и Георгий Владимов, я прочел, проартикулировал всю советскую литературу... или нессоветскую... Я вдруг стал немножечко понимать в ремесле — и актерском, и исполнительском, и режиссерском, и в том, что такое работа на конкретного человека.

— **Эмиграция изменила вас?**

— Конечно, я изменился. Это колоссальный опыт — начинать всего с нуля, без языка, в мире, который вызывал восхищение, восторг, пока я не знал языков и не знал мира. А потом — какое-то отчуждение... А по-

том возникло понятие: Родина. Очень удобная формулировка: родина — как здоровье, пока оно есть, о нем не думаешь. Попробуй-ка потерять! Я был абсолютно согласен с тем, что я читал по радио... Но вот этой моей улочки, моего переулочка, моего дерева под окном... Я сейчас приехал — Уланского переулка не существует больше, дом отсутствует. Я пришел к дому, где я провел юность и молодость, где я женился и сын родился, а мне говорят: тут испокон веков не было никакого дома. Я: да как же, был! Да нет, не было, старожилы говорят... И я нахожу дерево, на котором вбит крюк, который вбивал еще мой покойный отец, чтобы вешать белье. И вот этот крюк меня опять вернул к тому, что — нет, было же! Так уходят годы, уходят слои эпох, как не было, как будто волной смыло песок, и опять все гладенько, и опять все ровненько.

— **Чем вы сегодня занимаетесь?**

— Есть такое понятие: бодливой корове Бог рогов не дает. И когда я наконец все понял, осознал и вроде бы мог претворять в жизнь, я — человек на обочине. Наблюдатель со стороны. Вот, может быть, буду делать телепрограмму... Начальники, телевизионные боссы хворят: да, все хорошо, ваши идеи изумительны, трогательны, замечательны, денег нет. Найдите деньги — и будем заниматься искусством. Я парочку раз попробовал — выяснилось, что я не нравлюсь банкирам — у меня нет голодного блеска в глазах, нет холуйства. Пытался писать книгу — не получилось.

— **Почему?**

— Потому что выводы, к которым я прихожу, столь грустны и столь банальны... А без выводов — зачем я буду тратить бумагу? Что-то рисую... А в общем читаю книжки. Что-то происходит вокруг: мы уходим, уходим, уходим вниз. Я был на очень трогательном, очень человеческом прощании Кобзона — на его шестидесятилетии, и реакция зала у меня вызывала какое-то странное ощущение. Я не мог понять, что происходило с залом. Этот коллективный восторг от самих себя... Это то же самое, что я уже однажды видел во время празднования семидесятилетия Сталина. Я не против Кобзона, он того стоит, чтобы зал сходил с ума. Но не в такой форме. Он ценнее, он крупнее фигура и больше артист, чем то, что вытворял зал. Это был массовый психоз истеблишмента. Истеблишмент самоутверждался. А аплодисменты вслед гробу Дианы? Шквал аплодисментов! Миллионы людей в Лондоне провожали гроб аплодисментами. Это значит, что у них очень узкий спектр выражения эмоций. Они не знают, как себя вести, а надо выдать молниеносную реакцию. Участвовать! Присутствовать! Шесть миллионов артистов, и все работают на камеру...

— **Считается, что время такое...**

— Может быть, это время создаст свои ценности. Век кончается... Очень грустно, что мы уходим. Это безумно печально. И естественно. Пожить бы...

— **Встречалась Ксения РОЖДЕСТВЕНСКАЯ.**

ФОТО ЕКАТЕРИНЫ РОЖДЕСТВЕНСКОЙ

25.11.97

Панич